АЛЕКСЕЙ НЕБОХОДОВ

РАНЬШЕ ЧЕМ ТЫ УСПЕЕШЬ ПРЕДСТАВИТЬСЯ

Алексей Небоходов

Раньше чем ты успеешь представиться

«Автор»

2026

Небоходов А.

Раньше чем ты успеешь представиться / А. Небоходов — «Автор», 2026

Они встретились в Крыму, в августе 1980-го. Он студент, ему восемнадцать. Маргарите двадцать пять. Одно правило: никаких анкет. Десять ночей, после которых ему больше не нужен никто другой. На одиннадцатый день она бесследно исчезает. Ни записки, ни адреса, ни фамилии. Он ещё не знает, от кого она сбежала: от него или от себя.В феврале она входит в его аудиторию. Маргарита Степановна, его новый преподаватель истории.

© Небоходов А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 2. Имя 8
Глава 3. «Пока» и «постой» 12
Глава 4. В первый раз 16
Глава 5. Десять дней 22
Глава 6. Осень 30
Глава 7. Препод из ГДР 34
Конец ознакомительного фрагмента. 35

Алексей Небоходов
Раньше чем ты успеешь представиться

Глава 1. Скандал в престижном вузе

Кабинет достался ему вместе с должностью пятнадцать лет назад и с тех пор не изменился ни на один гвоздь. Тёмное дерево шкафов, высокие потолки и паркет, скрипевший у двери и под окном. Фикус на подоконнике, принесённый кем-то ещё в советские времена, дотягивал свой век и числился единственным сотрудником, ни разу не получившим выговор.

Лампу с зелёным абажуром давно пора было сдать в музей. Хотя работала она исправнее половины институтской проводки, и ректор держал её у себя в качестве зримого упрёка отделу снабжения. Стопки папок лежали ровно, углом к углу, как однажды приучила их складывать одна женщина, чьё имя он при посторонних не произносил без крайней нужды.

На экране ноутбука была открыта страница новостного агентства с заголовком, набранным шрифтом для тех, кто читать не любит: «Роман с последствиями: в московском вузе преподавательница закрутила отношения со студентом». Слово «закрутила» ректор оценил отдельно. Так пишут и про любовный роман, и про гайку, и в обоих случаях предполагается ручная работа.

Трубку он держал у уха третью минуту, и всё это время говорил не он. Голос на другом конце звучал ровно, без интонаций — накладные читают с большим чувством. Так разговаривают люди, привыкшие, что их слушают с первого слова: экономия дыхания, никакой театральности. Театральность нужна тем, кто должен что-то доказывать, а этому доказывать не требовалось.

— Вы, я так понимаю, в курсе, что сегодня с утра пишут три федеральных издания и, страшно сказать, одно зарубежное.

— В курсе, — ответил ректор.

— Двадцать пять лет преподавательнице, студент первокурсник и слухи, которые ходили давно. Теперь всё, приплыли. Заголовки такие, что я их вслух произносить не буду, сами прочитаете. Министерство на ушах, аккредитационная комиссия у нас в следующем квартале, сами понимаете, как на этом фоне будет выглядеть данный инцидент.

Ректор понимал. На фоне аккредитационной комиссии плохо выглядело решительно всё, включая крыльцо, смету на кровлю и сентябрьскую погоду.

— Понимаю, — сказал он и вернулся глазами к заголовку. За три минуты тот не изменился.

— Мне нужно, чтобы вопрос был решён. Быстро и без шума, насколько это ещё возможно без шума. Виновные наказаны и оргвыводы сделаны, для прессы — заявление о недопустимости, для нас с вами — понятно какое. Я не учу вас работать, дорогой мой. Сверху ждут результата, а не объяснений.

«Дорогой мой» в таких разговорах всегда стоит перед словом «результат», как тарелка с закусками перед счётом в ресторане.

— Хорошо, — сказал он.

— Вот и договорились.

Трубку на том конце положили первой, не дожидаясь ответной вежливости. Ректор несколько секунд слушал гудки — надеялся в них уловить то, чего не расслышал в разговоре. Мембрана потрескивала, отмеряя равные промежутки, и больше в трубке не было ничего.

Чашку с остывшим кофе он отодвинул на край столешницы не глядя. Годы, проведённые за этим столом, поставили его руку не хуже консерватории. Трубка легла на рычаг с той же точностью.

За пятнадцать лет в этом кресле он выучил одну вещь. В институте её называли выдержкой. Сам он формулировал это иначе: не дёргайся, пока не решил, куда дёргаться. Усвоил и ещё одно: чем спокойнее говоришь, тем внимательнее слушают.

Ректор снова посмотрел на экран. Двадцать пять лет и первый курс. Роман. В газетном исполнении слово звучало составом преступления, а не тем, что случается с людьми чаще, чем принято думать, и почти никогда не спрашивает разрешения.

Он провёл рукой, откидывая со лба волосы. Волос там не было давно, осталось только привычное движение. Ладонь прошла по тёплой гладкой коже и легла на затылок.

Взгляд его ушёл к окну. За стеклом стоял обычный сентябрьский двор: серое небо, мокрый асфальт после ночного дождя и лужи с отражением фонарей, которые дежурный опять забыл выключить. Через щель в раме тянуло сыростью и прелой листвой.

Охранник привалился плечом к косяку будки и смотрел в сторону проходной. На лице у него не отражалось ни одной мысли: в девять утра понедельника они на посту не полагаются. Ректор ему почти позавидовал. У охранника этим утром не было ни министерства, ни аккредитации, ни трёх федеральных изданий, ни, страшно сказать, одного зарубежного. У него была цепь, которую вечером надо будет протянуть через дверные ручки, и всё.

«Надо же такому случиться, — подумал ректор. — И снова у нас». Затем он посчитал в уме нечто, чего считать не собирался, и остановил себя резко, как оступившийся на незамеченной ступеньке.

Кнопку селектора он нажал не сразу. Кнопка была старая, с потёртой краской и нажималась туго: единственная деталь во всём кабинете, которую он заменил бы с удовольствием. Правда думал он об этом, только пока она сопротивлялась пальцу. Потом он забывал о злополучной кнопке, потому что думать и так было о чём.

— Пригласите ко мне декана исторического факультета, — проговорил он ровным голосом, чтобы по нему ничего нельзя было прочесть. — Как освободится.

Селектор щёлкнул и затих. Ректор снял очки, положил их на папку. Во всём здании не нашлось бы человека, ждущего этого разговора с удовольствием, и в первую очередь он сам.

Девушка в приёмной подняла голову от бумаг. Бумаги она перекладывала уже минут двадцать для занятого вида. Она кивнула селектору, хотя видеть её тот не мог, сказала короткое «хорошо» и снова опустила глаза.

Вид у неё был совершенно глухой. Хотя слышала она всё: двери в этом здании держат звук хуже, чем секретари язык. Институт был небольшим миром, и способность удержаться на месте в нём базировалось на умении вовремя не расслышать.

Декан вошла без стука. Забывчивость тут была ни при чём, это ректор знал совершенно точно. Просто за годы знакомства с этим кабинетом и его хозяевами она стала считать стук формальностью, неприменимой лично к ней.

Невысокая и прямая, в белой блузке с воротничком и тёмной юбке. Серебряные волосы до плеч: ни одна должность и ни один учёный совет так и не заставили её убрать их в приличествующий случаю пучок.

Дверь за собой она закрыла коротко и деловито: до обеда оставалась ещё пара дел, и тратить лишнюю минуту на третье она не собиралась. У порога остановилась и посмотрела на ректора. Терпения в этом взгляде было ровно столько, сколько полагается по должности, и ни грана сверх того.

Ректор указал на кресло, не вставая. Кресло декан подвинула себе сама, села и положила руки на колени. Ни папки, ни блокнота, ни ручки, ничего из того, чем на таких встречах

принято прикрываться, как щитом. Пустые ладони с коротко остриженными ногтями лежали ровно.

— Что же у вас на кафедре творится, любезная… — начал ректор светским тоном. Улыбка при этом держалась в глазах, губ не задевая.

— Скандал, я так понимаю, — голос у неё был ровный и чуть суше, чем требует светская беседа. — Двадцать пять лет барышне, студент — и всё как полагается, с заголовками. Читала уже. Похожая история однажды уже была, с одной нашей общей знакомой, чуть не вылетела тогда из института. Начало восьмидесятых, точнее не вспомню.

— Восемьдесят первый, — сказал он буднично, как поправляют опечатку в приказе.

Декан застыла на долю секунды. Больше она себе ничего не позволила. Рука на колене не дрогнула и голос не изменился, только глаза задержались на нём дольше, чем требовала пауза. Так смотрят на собеседника, сказавшего лишнее и понявшего это, но сидящего с видом полной невинности.

Ректор выдержал её взгляд и не улыбнулся шире, чем разрешал момент. Внутри у него при этом поднималось короткое злое веселье, коего в его должности иметь не полагалось. Причиной была то ли его собственная несдержанность, то ли лицо напротив: семьдесят один год, серебряные волосы до плеч и прямая спина, всё это знакомо ему дольше, чем эти стены.

— Вы иногда демонстрируете память, которая мало кому идёт на пользу, включая вас самого, — сказала декан, и голос её сел ещё на полтона.

— Профессиональная деформация, — ответил он. — Историк.

— Историк, — повторила она ровно, будто пробуя слово на вкус и находя его подозрительным.

Оба замолчали. Тишина в кабинете держалась дольше любой реплики, и слышно было, как в коридоре скрипнула и стала на место какая-то дверь. Переводить эту тишину в слова никто не собирался.

За окном всё оставалось, как десять минут назад. Охранник переступил с ноги на ногу, лужа во дворе подёрнулась мелкой рябью от ветра, и фикус на подоконнике не шелохнулся. Земля в горшке была сухой, по краю темнел белёсый налёт от жёсткой воды.

Глава 2. Имя

Пляж дома отдыха начинался сразу за деревянной будкой вахтёра: узкая полоса светлой гальки, обкатанной морем до блеска. К девяти утра её застилали десятками полотенец, разложенных так плотно, что пройти между ними можно было только боком, извиняясь на каждом шагу.

Над камнями стоял запах йода, соли и раскалённого известняка, а поверх него тянуло сладковатым — не то кремами для загара из киоска по рубль двадцать за тюбик, не то абрикосами, раздавленными о гальку и брошенными там же.

Мужчина у самой воды держал над лицом газету как козырёк, а не читал её. На первой полосе крупно чернело: «Олимпиада-80». Игры закончились, медали раздали, и Москва третью неделю выдыхала.

Вахтёр в выцветшей под солнцем морской фуражке неясного происхождения сидел у ворот на табуретке и добросовестно изображал проверку пропусков. Работа была необременительная. Пропуск требовался только тем, кто не догадался заранее сунуть ему трёшку.

Николай прошёл вдоль рядов полотенец до свободного пятачка ближе к воде и расстелил своё — синее, с вышитым якорем, купленное матерью когда-то по случаю в Гагре. Якорь намекал на флот, к которому Николай не имел никакого отношения, вышивка на нём местами облезла, но отказаться от этого полотенца он так и не смог. Он лёг и закрыл глаза. Солнце давило на веки красным, галька грела спину сквозь тонкую ткань.

Ему было восемнадцать. Весь этот пляж, вся путёвка и весь дом отдыха с продавленными шезлонгами и вечерними танцами под хрипящий громкоговоритель были для него возможны благодаря одному обстоятельству: на исторический он поступил сам.

Поступил без единого звонка и без записки, переданной через нужного человека. При том что отец, хирург с именем, к которому записывались через знакомых своих знакомых и ждали месяцами, мог сделать такой звонок между двумя операциями. Не сделал, потому что не понадобилось.

Историю Николай знал с четырнадцати лет так, как другие мальчишки знают марки автомобилей: увлекался всерьёз, мимо школьной программы, влезая в даты и мелкие нестыковки, которые преподаватели пропускали мимо ушей. Ко времени экзаменов он с закрытыми глазами перечислял участников Утрехтского конгресса и объяснял, где в учебнике для восьмого класса напутана хронология Смуты.

Комиссия слушала его внимательно, и внимание это было особого рода. Взрослые люди уважают ребёнка, который неожиданно оказывается компетентнее их самих; уважение получается чуть растерянное, и Николай его расслышал. Один из экзаменаторов что-то записал себе, и Николай до сих пор предпочитал думать, что это была не жалоба.

Отец выдал путёвку коротко, между двумя другими делами, не превращая это в церемонию: заслужил, поезжай, отдохни перед институтом. Сказано это было вскользь, за завтраком, вместе с указанием взять плащ на случай дождя и не есть купленные у частников немытые персики. Хирург, вскрывавший грудные клетки, свёл весь инструктаж по безопасности к персикам.

Отец говорил о матери редко и коротко, в двух-трёх словах, годных для справки. Она умерла, когда Николаю было двенадцать, и на поминках он задержался у приоткрытой двери кухни, где отцовские коллеги курили и разговаривали вполголоса.

Там он и услышал фразу, которую не забыл ни разу за шесть лет. Кто-то сказал, что Семён Аркадьевич мог бы взяться за операцию сам: риск, конечно, велик, но руки у него золотые, мог бы рискнуть.

И тут же, без всякой паузы, разговор перешёл на другое. За дверью звякнуло стекло о стекло, потянуло свежим табачным дымом. Спросили, будут ли ещё разливать коньяк.

Николай запомнил обе фразы одинаково отчётливо, и про риск, и про коньяк. За почти семь лет ни на одном из бесчисленных семейных ужинов он не спросил отца, почему тот не рискнул. Не потому что боялся ответа. Он до сих пор не знал, с чего вообще начинают такой разговор.

Разговор откладывался сам собой, год за годом, и к каждому лету весил всё больше. Начинать его теперь пришлось бы с середины, а середины Николай не знал.

Так путёвка и досталась ему — наградой за единственное, что он в жизни сделал сам. Эти десять дней он собирался прожить так, будто отца не существует вовсе. Ни трёхкомнатной квартиры с джинсами, добытыми через знакомого администратора, ни часов, которые он снял ещё в поезде и сунул в карман рубашки.

Николай приоткрыл один глаз, потом другой, прищурился на выбеленное небо над морем. Десять дней без единого упоминания слова «институт» стоили любой цены.

Галька в двух метрах от него зашуршала под чьими-то шагами. Он повернул голову скорее автоматически, чем из интереса, и увидел девушку, расстилавшую полотенце.

Она сделала это быстро, двумя рывками, без суетливой возни, с какой обычно устраиваются на пляже: не выравнивала края со всех сторон и не придавливала углы камнями на случай ветра. Светлые волосы у неё были собраны в узел на затылке наспех, пряди уже выбивались на шею и на висок, и она их не поправляла, словно давно выяснила, что бесполезно.

Купальник на ней был простой, глухого чёрного цвета, обрезанный по бедру ровно и без затей, среди ярких и цветастых он выделялся именно этим. Сидел он так, что не оставалось сомнений: тело под ним узкое в кости, лёгкой худобы, а такая худоба, если голода ты не видел, действует сильнее любой пышности.

Она опустилась на полотенце одним движением и села, поджав ноги. Из сумки достала книгу в потрёпанной бумажной обложке, раскрыла сразу на середине, не листая, будто читала не первый день.

Вчерашний школьник смотрел на неё дольше, чем позволено глазеть на незнакомую женщину на пляже. Секунд десять, может, пятнадцать. Поймал он себя только тогда, когда она, не поднимая глаз от страницы, чуть повела плечом: почувствовала взгляд затылком и сочла его не стоящим внимания. Это задело сильнее, чем если бы она обернулась и сказала что-нибудь обидное.

Он полежал ещё с полминуты, деланно разглядывая небо и перебирая заготовки, которых у него было на все случаи жизни и ни одной — на этот. Потом поднялся, отряхнул с локтя налипшую ракушку и пошёл к ней тем шагом, каким идут будто бы мимо, а на деле — напрямую.

В двух шагах от её полотенца он остановился и выпрямился, чуть приподняв подбородок. Зимой, перед зеркалом в ванной, это движение казалось ему смешным, а сейчас почему-то не казалось. Фразу он вынашивал весь прошлый год и хранил бережнее, чем единственный хороший галстук.

— Привет! Меня зовут Николай. А давай я назову твоё имя раньше, чем ты успеешь представиться?

Она не подняла глаз сразу. Дочитала абзац или сделала вид, что дочитала — палец так и остался лежать на строчке. Только потом посмотрела на него снизу вверх, прямо, без малейшего смущения, взглядом, который первыми не отводят. Над левой бровью у неё была маленькая родинка.

Взгляд она задержала на полсекунды дольше, чем нужно тому, кто уже решил отшить. Начала говорить и оборвала себя на первом же слове.

— Зачем угадывать, — сказала она сухо, и уголок рта у неё дрогнул в закрытой полуулыбке, по которой ничего нельзя было понять. — Я тебе сама скажу. Маргарита.

Отрепетированная перед зеркалом фраза лопнула тихо и без последствий, как проколотый шарик. Николай понял это сразу и виду не подал: он ещё в школе усвоил, что провал считается провалом только с той секунды, когда ты в нём признался.

Он сел рядом, потому что на двух метрах гальки сесть не рядом было невозможно. Не спрашивая позволения и не нахальничая, а с тем видом, какой бывает у человека, которому деваться некуда.

— А меня отгадывать не пробуешь? — спросил он и откинул со лба волосы.

— Николай, ты же сам представился, — ответила Маргарита и наконец захлопнула книгу, на обложке которой он успел разглядеть имя Стендаля, отпечатанное на плохой бумаге. — Или ты хочешь, чтобы я тебе новое имя придумала? Могу. Скажем, Аркадий. Тебе идёт.

— Мне и своё нравится.

— Ну и славно.

Разговор не закончился ни на пляже, ни у воды. Николай так и не заметил, в какую минуту галька под ними сменилась мокрым песком, а потом асфальтом набережной. Спутница его говорила быстро, перебивала себя на середине фразы ради другой, посмешнее, и смеялась над своими репликами раньше, чем он успевал сообразить, что смешного она сказала.

Он не поспевал и не жалел об этом. С девушками, которых он знал до сих пор, разговор шёл по отработанной схеме: он говорил, они смеялись. Здесь схема не работала вовсе, и это оказалось приятнее, чем он ожидал.

У лестницы на набережную стоял автомат с газированной водой. Стакан при нём был один на всех, гранёный, с мутными разводами по краю, и его полагалось ополаскивать тут же, на перевёрнутой шайбе, под слабой струёй.

— Три копейки с сиропом, — сказала Маргарита, ополоснув стакан и подставив его под кран. — У тебя есть?

— Есть.

— Тогда мне с сиропом. В следующий раз плачу я, по-честному.

Он опустил монету. Автомат хрюкнул, и стакан наполнился до половины. Она пила, стоя у автомата, придерживая свободной рукой прядь у виска, а допив, налила ещё и протянула стакан ему. Он взял его, накрыв ладонью её пальцы сверху, и подержал так дольше, чем нужно, чтобы перехватить стекло. Пальцы под его ладонью остались лежать, где лежали, тёплые от солнца и мокрые по краю.

— Тёплая, — сказал он, чтобы сказать хоть что-нибудь.

— Она тут всегда тёплая. Пей, пей.

Он допил. С лодочной станции кричали что-то неразборчивое, внизу, под парапетом, вода коротко била в бетон. Они стояли и молчали, и ни один не стал это молчание разбивать. Первой отвернулась она, посмотрела на море и опять задержала взгляд дольше, чем нужно, только теперь не на нём.

— Пошли, — сказала Маргарита и поставила стакан на решётку. — Тут дальше есть кусок набережной, где никого не бывает даже в августе.

Кафе с рассохшимися плетёными стульями стояло с распахнутой дверью, и оттуда на всю набережную била музыка. Оркестр наигрывал «Всё могут короли», и Маргарита вполголоса подхватила припев, явно наслаждаясь тем, как нелепо это у неё выходит.

— Ты вообще откуда такая взялась? — спросил он, когда они уже сидели на парапете у самой воды, свесив ноги. Камень под ладонями держал дневное тепло.

— Ниоткуда, — сказала она. — С неба упала.

И тут же, без всякой связи с вопросом, добавила буднично, будто речь шла о погоде:

— Я вообще не в доме отдыха живу, комнату сняла у одной бабки. А на пляж хожу через вахтёра, трёшку сунула — и порядок. Тут все так делают. Он и не спрашивает ничего, только руку подставляет.

Николай кивнул так, как кивают на самое обычное дело. Своих денег у него до сих пор не водилось, он тратил отцовские, а совать кому-то в ладонь не приходилось ни разу. Про себя он отметил и трёшку, и вахтёра, и бабку с комнатой, потому что запоминал всё, что она говорила: механически, не отдавая себе отчёта, по старой привычке запоминать даты и источники.

К вечеру они ходили по набережной так, будто знакомы были не полдня, а полжизни. Сумерки густели, фонари набирали силу, от нагретого за день парапета тянуло сухим теплом. Маргарита остановилась, облокотилась на него боком и сказала, глядя на воду:

— Слушай, у меня правило есть. Хочешь соблюдай, хочешь нет, но я предупредила.

— Какое правило?

— Никаких анкет.

Она произнесла это так же легко, как некоторое время назад про трёшку. Одно у неё, видимо, вытекало из другого.

— Фамилии не спрашиваем, город не спрашиваем, кем работаем, на кого учимся — тоже не спрашиваем. Без прошлого и будущего, чисто для здоровья. Согласен?

— Согласен, — сказал Николай.

Согласился он легко. Ничего, кроме забавного курортного каприза, он в этом не услышал: взрослая женщина хочет развлечься без последствий, дело житейское. О том, что спорить надо было именно тогда, пока правило не отвердело и не начало действовать сильнее любого приказа, он не подумал.

Солнце садилось за холмы, и вода приняла золотистый оттенок, какой бывает только в августе на юге, перед самой темнотой. Со стороны дома отдыха, из-за акаций, уже доносилась музыка. Танцплощадка открывалась, как всегда, ровно в восемь, и там наигрывали что-то медленное, разбавленное треском аппаратуры.

Николай повернулся к ней:

— Пойдём вечером на танцы.

Маргарита посмотрела на него, и пауза перед ответом вышла длиннее, чем требовалось для простого «да» или «нет». Он успел подумать, не сказал ли лишнего и не нарушил ли её правило одним этим приглашением. Из-за акаций доносился всё тот же медленный мотив, и оркестр на середине сбился с такта.

Глава 3. «Пока» и «постой»

Танцплощадка дома отдыха оказалась дощатым настилом метров пятнадцать на пятнадцать, обнесённым низкой белой оградой. Красили её, судя по всему, ещё при Хрущёве, и краска облупилась ровно настолько, что штакетник казался обжитым — сквозь белила проступала серая, растрескавшаяся вдоль волокна доска.

Над настилом висела гирлянда, в которой горела хорошо если половина лампочек. Из-за этого освещение напоминало азбуку Морзе, которую передавали с ошибками и через раз. Николай посмотрел на мигающую цепочку. Лампочки потрескивали, нагреваясь, и одна, над самым входом, гасла чаще прочих.

В подсобке за настилом перемотали бобину, и из жестяного раструба на столбе полилось что-то медленное и явно западное, с магнитофонным привкусом растянутой плёнки: женский голос на длинных нотах плыл и слегка не догонял сам себя. Пары, жившие здесь вторую неделю, знали порядок песен наизусть и ничего обидного в этом не находили.

У калитки, прорезанной в ограде, сидел на табуретке вахтёр, утром собиравший трёшки за проход на пляж с видом часового, приставленного к государственному имуществу. К вечеру он надел форменную рубашку, мятую в мелкую частую складку — похоже, её не гладили никогда, да и не собирались. На коленях у него лежала газета, сложенная заголовком наружу. Вахтёр её не читал, просто держал при себе, как держат удостоверение.

Николай остановился перед калиткой и полез в карман, где с обеда завалялась трёшка. За день купюра превратилась в мятый комок бумаги, и он некоторое время разглаживал её пальцами, стараясь придать ей хоть какое-то подобие достоинства.

Деньги были отцовские. Как и путёвка, и рубашка на нём, как и всё, что у него имелось к восемнадцати годам. Но распорядился он ими впервые сам, по своей воле и за своё.

Трёшка была не мелочь. На неё в московской столовой обедали три раза, дома за такие деньги полагался бы отчёт, а здесь она уходила за право простоять вечер на дощатом настиле. Николай отдал её. Жалеть было нечего, и пальцы ещё хранили сухой шершавый след мятой бумаги.

Вахтёр взял купюру не глядя, двумя пальцами, и она исчезла под газетой прежде, чем он кивнул в сторону настила: проходите, чего встали. Маргарита прошла вперёд, встала у самого края и оттуда наблюдала за сценой с откровенным удовольствием.

— Дороже, чем мне утром обошлось, — сказала она, когда он подошёл. — Тебя, видно, за москвича приняли.

— Я и есть москвич.

— Вот видишь.

Маргарита смотрела на него прямо и взгляда не опустила первой. Улыбалась едва заметно, одними уголками рта, и в углу губ держалась короткая упрямая складка.

На настиле топтались шесть или семь пар. Немолодая женщина в цветастом платье танцевала с мужчиной, у которого явно побаливала спина: двигался он одной верхней половиной тела, оставляя ноги на месте.

Ближе к краю жались парень и девушка, оба моложе остальных, и держались так тесно, что между ними не прошла бы и ладонь — на случай, если музыка оборвётся и им придётся отклеиться друг от друга. Ещё одна пара покачивалась почти на месте, серьёзно и молча, и мужчина время от времени переступал, перенося вес с затёкшей ноги на другую.

Николай протянул Маргарите руку, приглашая. Заготовленных фраз на этот случай у него не было: в Москве они находились на все случаи, а здесь не годилась ни одна. Девушка шагнула к нему без колебаний, так же уверенно, как утром расстилала полотенце.

Он положил ладонь ей на талию, поверх лёгкой, шершавой от стирки блузки, накинутой после пляжа, и почувствовал под тканью не мягкость, а рёбра, худобу, которая на пляже читалась одним взглядом, а под рукой оказалась отчётливее. Она положила руку ему на плечо неплотно и почти невесомо, не сжимая пальцев, и между ними осталось расстояние в два пальца, на которое она не приближалась.

Двигались они медленно, в четверть шага. Танец здесь был предлогом: другой близости, кроме разрешённой — на глазах у вахтёра, у пары со скованной спиной, у всего этого маленького мира, состоящего из полотенец, трёшек и облупленного штакетника, — не полагалось.

— Ты хорошо танцуешь для того, кто явно не танцевал, — Маргарита смотрела не на него, а в район его ключицы.

— Откуда ты знаешь, что не танцевал?

— По рукам. Держишь так, будто боишься разбить.

— А надо иначе?

— Надо расслабиться. Я не фарфоровая.

Он попробовал расслабить руку, и вышло хуже: ладонь легла плотнее, и под пальцами напряглась и снова опала её талия. Вдох, выдох, обыкновенное дыхание, и он слышал его сквозь блузку ладонью, а не ухом.

Пахло от неё морем, не выветрившимся за день с кожи, и ландышем, дешёвым и аптечным. Такие духи продавались, надо думать, в единственном киоске посёлка, рядом с мылом и открытками, и все флаконы там пахли на один лад.

Маргарита была ниже его на голову. Когда она чуть склонилась к нему, светлая прядь, выбившаяся из узла ещё на набережной, коснулась его подбородка. Николай не шевельнулся — отодвинуться значило признать, что он заметил.

Плёнка дохрипела последние такты, и наступила пауза: динамик замолчал, готовясь то ли к следующей записи, то ли устав вовсе. Разошлись они не сразу. Стояли ещё секунду, может, две — дольше, чем требовали приличия танцплощадки. Он не снял ладонь с её талии, она не убрала пальцы с его плеча, и оба молча смотрели друг на друга, пока в раструбе сухо щёлкало и шуршала пустая плёнка.

Потом Маргарита шагнула назад первой, спокойно, без суеты, и рука её соскользнула с его плеча так же ровно, как и легла туда.

— Ну вот, — сказала она. — Станцевали.

С площадки они ушли молча, повернувшись оба сразу, без уговора, и пошли в сторону, противоположную набережной, туда, где начинался парк дома отдыха — несколько десятков сосен, посаженных, видимо, при закладке всего хозяйства, и дорожка из бетонной плитки, у которой края давно обкрошились, обнажив ржавую арматуру.

Фонари в парке горели через один, и то тускло, жёлто, и света хватало разве что на то, чтобы различить под ногами обломанные края плитки и сухие сосновые иглы, набившиеся в стыки.

Маргарита шла рядом, не беря его под руку и не отставая. Николай приноровился к её шагу, ровному и неутомимому, каким ходят по делу, а не гуляют. Прогулочного в нём не было ничего.

Дорожка вывела их к спуску, за которым начинался обрыв. Внизу, невидимое в темноте, тяжело и ровно шумело море с долгими промежутками между накатами. Вдоль обрыва тянутся широкий каменный бордюр, ещё тёплый от дневного солнца, и оба сели на него разом, не сговариваясь и не выбирая места. Камень отдавал в ладони дневное тепло, а снизу, от моря, тянуло холодной водорослевой сыростью.

Николай положил руки на нагретый камень, под пальцами он был шершавым, в мелких выбоинах от дождей. Вечер, планы на который Николай весь день вынашивал, обошёлся ему в три рубля. Первый, за который он заплатил сам.

— Слушай, — Маргарита смотрела не на него, а вниз, туда, где шумела вода. — А ты зачем сюда путёвку взял? Скучаешь же весь день. Я вижу.

— Отец дал, — сказал Николай. — За то, что поступил в институт. Я взял.

Сказать можно было красивее: про море и про юг, про то, что давно собирался. Врать Николай умел, но не тогда, когда враньё чего-то стоило, и язык всякий раз запинался о заготовленную фразу, как о порог.

Маргарита сняла сандалию, потёрла большим пальцем подъём и надела обратно. Ремешок она застёгивала на ощупь, не глядя.

— А как называется эта штука, когда смотришь на воду и перестаёшь думать?

— Не знаю. Наверное, никак не называется.

— Должна называться. У всего есть название.

Николай промолчал. Он вырос в убеждении, что у всякой вещи есть имя, дата и источник, а сейчас перебирал про себя слова и все отбрасывал.

Внизу шумело море, размеренно и без усилия. На танцплощадке за соснами динамик наконец замолчал, и стало слышно, как в соснах над обрывом сухо шумит хвоя.

Николай смотрел на тёмную воду и чувствовал, как плечо Маргариты почти касается его плеча. Именно почти, на расстоянии, которое можно было преодолеть одним движением, но ни один из них этого движения не делал.

С парапета они поднялись одновременно и пошли в сторону города. Не в курортную его часть с набережной и домом отдыха, а туда, где стояли пятиэтажки с тёмными подъездами и бельём на балконах, убранным на ночь.

Дом, в котором Маргарита снимала комнату, оказался такой же блочной пятиэтажкой. Крайний подъезд, лампочка над дверью не горела, и ступеньки они нащупывали в темноте. Разговор закончился сам собой, под ногами хрустела мелкая щебёнка, натасканная с дороги.

У подъезда Маргарита повернулась к нему первой, прежде чем он успел придумать, что сказать.

— Я пришла, — сообщила она. — Пока.

Сказано это было ровно, без единой нотки извинения и без неловкости, с какой обычно объясняют кавалеру, почему дальше порога нельзя. Дверь закрывалась по причинам, понятным ей самой.

Николай кивнул. Тон был из тех, с какими не спорят, и возражения он подбирал уже вслед закрытой двери.

Маргарита потянула на себя дверь и ушла в подъезд.

Ещё с полминуты Николай стоял перед подъездом. Руки висели пустые, и он сунул их в карманы. «Пока» было сказано так, что уходить не хотелось, а оставаться было незачем. Потом развернулся и пошёл по улице.

Шагах в десяти от дома его догнал её голос:

— Постой!

Он обернулся. Маргарита стояла у подъезда, дверь была распахнута настежь, свет изнутри падал ей в спину, и Николай видел только силуэт. Узел на затылке разошёлся совсем, и волосы лежали на плечах свободно, ничем больше не удерживаемые.

Бежала она быстро и почти некрасиво, подпрыгивая на неровной плитке тротуара, придерживая одной рукой полу блузки, сандалии хлопали по пяткам. Добежав, не остановилась ни на секунду, чтобы отдышаться или добавить хоть слово: поймала его лицо обеими ладонями и поцеловала первой.

Николай не успел ни сказать что-нибудь, ни удивиться как следует. Удивление пришло позже. В ту минуту он чувствовал только тепло её ладоней на своих скулах, неожиданно горячих после прохладного вечернего воздуха, и вкус её губ, солёный от моря и чуть сладкий. И себя чувствовал тоже: сердце ударило где-то в горле и пошло часто, дыхания не хватило с пер-

вой же секунды, и по спине, от затылка вниз, прошла горячая волна, которой он не ожидал и которую не мог остановить.

Пальцы её ушли ему в волосы, на затылок, и она приподнялась на носках, потому что иначе дотянуться не могла. От этого усилия, от того, как напряглись её икры под тонкой тканью юбки, поцелуй вышел отчаянно неловким, и она дважды сбилась, промахнувшись мимо его губ.

Пахло от её волос тем же дешёвым ландышем, что и на танцплощадке, только гуще и ближе, вперемешку с солью и с простым домашним запахом цветочного мыла.

Он положил руки ей на талию, туда же, куда клал во время танца. Только теперь между ладонью и телом не осталось никакого расстояния для приличия — рядом не было ни танцующих пар, ни штакетника вокруг. Маргарита подалась вперёд вся, целиком, не оставив между ними и того малого расстояния, о котором так заботилась на танцах.

Тело отозвалось раньше, чем он успел решить, позволено ли ему так отзываться. Кровь ударила в лицо, уши загорелись, и он на секунду попробовал отодвинуть бёдра, а потом перестал об этом думать.

Поцелуй длился долго. Достаточно, чтобы Николай успел почувствовать, как солёный привкус смешался с прохладой воздуха и как напряглись и расслабились мышцы её спины под его ладонями. Один раз она отстранилась перевести дыхание и тут же вернулась. Собственное дыхание он слышал тоже, громче, чем хотел бы, и ничего не мог с ним поделать.

Кончился поцелуй так же внезапно, как начался. Маргарита отступила на шаг, опустилась с носков на всю ступню и посмотрела на него прямо, снизу вверх, без малейшего смущения. Дышала она часто, и грудь под блузкой поднималась и опадала.

Она молчала. Молчал и Николай: слова казались либо слишком лёгкими для того, что произошло, либо слишком тяжёлыми для десяти дней без фамилий и без будущего.

Лампочка над подъездом, не горевшая весь вечер, мигнула и загорелась. Свет лёг жёлтым пятном на плитку, и в этом пятне были видны её сбитые набок сандалии и его собственная тень, доходившая ей до колен.

Глава 4. В первый раз

Дверь в квартиру открывалась туго. Маргарита толкнула её плечом, привычным движением, за неделю выучив место, где рассохшееся дерево цепляется за косяк.

В прихожей было темно и пахло борщом, въевшимся в обои так основательно, будто обои были сварены вместе с ним. Запах шёл бесплатным приложением к жилью, а за само жильё хозяйка приходила взимать плату раз в три дня, и сегодня был как раз третий. Маргарита нашарила ногой коврик у двери. Калош на нём не было.

— Тут ещё кто-то живёт? — Николай задел плечом вешалку, и на крючке загремела хозяйкина авоська с пустыми банками.

— Сосед. Ему не до нас, — сказала Маргарита. — Не наступи.

Она повела его узким коридором мимо ещё одной двери, за которой бормотало радио, и ключ, вынутый из кармана юбки, тёплый от бедра, вошёл в скважину только со второго раза, потому что в первый она ткнула им в щель между дверью и косяком.

Выключатель щёлкнул. Под потолком загорелась лампочка без абажура — просто цоколь на витом шнуре, и свет упал резко, без пощады. Николай зажмурился и остался на пороге. Маргарите пришлось взять его за рукав. Дверцу фанерного шкафа, который стоял полуоткрытым, она по привычке прижала коленом, но дверца отошла снова. На спинке стула висело дневное платье, брошенное утром.

Кровать была узкая, панцирная. Николай опустился на край, сетка прогнулась под ним чуть не до пола, и он сразу поднялся. Покрывало лежало чужое, застиранное до ровного серого оттенка, какой появляется у вещей от дешёвого мыла и кипятка.

На подоконнике, рядом с засохшей геранью, которую не спас бы уже ни один ботаник, лежала раскрытая книга обложкой вниз. На тумбочке, рядом с розеткой, лежал кипятильник и стоял пустой стакан. Из собственных вещей Маргариты здесь были книга, платье на стуле и решимость, с которой она привела сюда мальчика на семь лет младше себя.

За тонкой перегородкой кто-то закашлялся, сухо и долго, как кашляют по ночам старики, не просыпаясь. Приёмник ожил, поймав середину песни, потом диктор забормотал неразборчиво. В коридоре скрипнула дверь, прошаркали и стихли шаги. Квартира дотягивала ночь по заведённому порядку и оставалась совершенно равнодушна к тому, что происходило за закрытой дверью.

Маргарита остановилась у торшерного выключателя и задержала пальцы на пластмассовой клавише. Можно было погасить верхний свет и оставить торшер, устроив мягкий полумрак, как полагается при таких обстоятельствах. Но она убрала руку и оставила всё как есть. Голую лампочку. Белый свет в упор. Пластмасса клавиши нагрелась под пальцами, и Маргарита вытерла ладонь о юбку.

Они упали на кровать, и панцирная сетка отозвалась жалобным скрипом, который наверняка был слышен через перегородку. Николай целовал Маргариту, и на секунду она забыла и про скрип, и про кашель, и про засохшую герань.

Целовался он хорошо. Даже слишком хорошо для восемнадцати лет: губы двигались медленно и уверенно, будто он точно знал, чего хочет. Откуда мальчик, у которого никого не было, мог этому научиться, оставалось загадкой. Маргарита даже отвлеклась на секунду, пытаясь её разгадать, и оставила: под ладонью частил его пульс, и это было интереснее любой догадки.

А дальше обнаружилась стена. Руки легли ей на талию в первую же секунду и с тех пор не сдвинулись ни на сантиметр, будто он назначил себе границу и нарушить её боялся больше, чем задохнуться. После каждого движения Маргариты следовала крошечная пауза, полсекунды, за которую он сверялся с чем-то внутри себя. Ладони не поднимались выше рёбер и не опуска-

лись ниже. Дыхание сбивалось слишком рано для того, что между ними, собственно, ещё и не начиналось.

Маргарита отстранилась. Отвела голову ровно настолько, чтобы видеть его лицо целиком, и посмотрела так, как смотрит преподаватель, проверяющий ответ, хотя откуда взялся этот взгляд на каникулах, она и сама не знала.

— У тебя что, ещё никого не было?

Николай не отвёл глаз. Они смотрели прямо — серо-голубые и откровенные, без попытки спрятаться.

— Нет.

В голосе не было ни капли ложного равнодушия, каким восемнадцатилетние обычно прикрывают подобные признания. Он сказал это так же прямо, как утром на пляже назвал своё имя, не заготавливая путей к отступлению.

— Сколько тебе лет?

— Восемнадцать.

— Уже легче, — сказала Маргарита.

Облегчение вышло некрасивым и совершенно настоящим. Она шумно выдохнула, устало, как выдыхают, узнав, что цифра всё же не хуже, чем могла быть. Плечи опустились расслабленно, но губы тут же поджались: восемнадцать тоже было очень мало. Перед ней лежал мальчик, а не мужчина, и этот мальчик только что признался в том, после чего полагалось бы взять паузу, а не продолжать.

— Иди прими душ, — сказала она, убирая руку с его груди.

Николай не спорил. Поднялся, неловко зацепив коленом край сетки, и вышел. Широкие плечи едва вписались в дверной проём, рубашка осталась скомканной на полу у изножья кровати. Тело уже было мужским, опыт — мальчишеским. Маргарита подобрала рубашку и стиснула её в кулаке.

Оставшись одна, она легла на спину и уставилась в потолок, туда, где лампочка отбрасывала на штукатурку резкий круг тени с каймой.

— Вот не можешь ты, Маргарита Степановна, без приключений, — сказала она вслух, негромко, тем кухонным голосом, который слышала только она и, пожалуй, засохшая герань.

Улыбка ушла быстро. Дело было не в возрасте. Молодость сама по себе не пугала. Пугало другое: она станет у него первой. Первую женщину не забывают, сколько бы лет потом ни прошло, и через десять дней всё закончится, потому что должно закончиться. Ей двадцать пять, аспирантура, кафедра, характеристика. Если всплывёт эта история, профессии конец. А больно будет не ей, а ему, восемнадцатилетнему, который ещё не знает, что десять дней без фамилий не превращаются в жизнь.

И самое некрасивое: она хотела его. Прямо сейчас, пока он плескался за стеной под тонкой струёй горячей воды. Рубашка так и осталась у неё в кулаке, прижатая к животу. Маргарита заметила это и бросила её на стул. Стыдно было сильнее, чем от разницы в возрасте, и сильнее, чем от собственного правила, которое она назначила себе лет пять назад.

«Приехала отдохнуть, Маргарита Степановна. Заслужила», — подумала она.

Затем поднялась, подошла к окну. Двор, бельевые верёвки, тёмные окна соседнего дома. Кошка перебежала через асфальт и юркнула под скамейку. Маргарита постояла с полминуты, вернулась, села на скрипнувшую сетку, взяла книгу, полистала и положила обратно. Кристаллизация, будь она неладна.

— Да пошло оно всё! — сказала она почти шёпотом.

Вода за стеной всё ещё шумела тонкой, хлюпающей струёй, какая бывает в домах, где напора, считай, что нет вовсе. Маргарита прошла тёмным коридором, минуя дверь, за которой снова забормотало радио.

Ванная была тесной, полтора на два метра. Кафель, положенный, судя по всему, ещё до войны, с тех пор не менялся: белые плитки покрывала сеть трещин, у пола одна откололась, обнажив бурое пятно цемента.

Газовая колонка на стене гудела ровно и низко, и от кожуха тянуло горячей жестью, будто её вот-вот прорвёт. Гул глушил всё, даже собственные мысли. Одно достоинство у этой квартиры всё-таки было: за таким гулом не слышно ничего.

Клеёнчатая штора на ржавых кольцах была задёрнута наполовину. Сквозь неё виднелся силуэт. На бортике ванны лежали чужие мочалки, свалявшиеся и жёсткие, а рядом, в алюминиевой мыльнице с отбитой эмалью, покоился обмылок хозяйственного мыла, серый и растрескавшийся. Натюрморт «Курортная гигиена», масло, картон.

Защёлки на двери не было. Хозяйка так и не поставила шпингалет, ссылаясь то на отсутствие мастера, то на отсутствие шпингалетов в природе. Дверь держалась на честном слове.

Маргарита толкнула её без стука.

— Не помешаю? — спросила она, просунув голову за штору.

Николай стоял под струёй, зажмурившись. Вздрогнул, открыл глаза, и в серо-голубом, совершенно растерянном взгляде было столько всего сразу, что Маргарита не стала дожидаться ответа. Протянула руку мимо него и повернула кран. Вода стихла с коротким всхлипом трубы.

— Вылезай.

Полотенце висело тут же, на крючке рядом с колонкой, застиранное и тонкое, с бахромой по краю. Маргарита сняла его и развернула на вытянутых руках, держа перед собой горизонтально.

Николай послушно перешагнул борт ванны и оказался перед ней мокрый, с волосами, прилипшими ко лбу. Она обошла его сзади, обвела полотенце вокруг спины, свела концы на груди и подоткнула край, чтобы держалось.

Всё это заняло секунд пять, и за эти пять секунд Маргарита успела провести короткую инвентаризацию: выше её на целую голову, вдвое шире в плечах, мокрый и послушный, и до сих пор не понимает, что с ним делают.

Она растирала его плечи через ткань сильно, без нежности, тем движением, каким растирают вымокшего под дождём ребёнка. Николай стоял ссутулившись, потому что тянуться до его макушки можно было, только привстав на носки. Маргарита привстала и взъерошила мокрые волосы. Ребёнок из него уже вышел, мужчина ещё не вошёл, и она стояла ровно на границе.

— Широкий ты, — сказала она, обхватив ладонями его плечи через полотенце. — А ведёшь себя так, будто хочешь занимать поменьше места.

Николай засмеялся коротко, щурясь от воды, попавшей в глаза. Маргарита взялась за оба конца полотенца у него на груди и потянула на себя.

— Пошли.

Он шёл за ней сам, мелкими шагами, потому что ткань стягивала ноги и не давала шагнуть шире. Маргарита пятилась, держа концы в кулаках, и затылком нашла в темноте дверной косяк. За соседской дверью радио перешло на погоду: ветер северо-западный, три-пять метров в секунду.

На пороге, где кафель сменялся деревянным полом, натекла лужа. Николай ступил в неё и поскользнулся сразу обеими ногами, коротко ахнул и качнулся всем телом вперёд.

Маргарита приняла его вес сразу, без подготовки. Расставила ноги шире, вжала пятки в пол и сжала концы полотенца так, что пальцы побелели. Удержала. Николай не пытался выровняться сам и не хватался за стену. Просто позволил себе упасть в её сторону, как падает тот, кому впервые за сутки разрешили ничего не изображать.

Плечи у него обмякли. Рука легла ей на плечо без попытки обхватить, просто для равновесия. Выдох пришёлся в макушку, долгий, до дна, и только по нему стало слышно, что до сих пор он дышал вполсилы. От мокрых волос пахло чужим шампунем, дешёвым, с запа-

хом яблока. С подбородка у него сорвалась капля, попала ей за ворот майки и поползла вдоль позвоночника до самого пояса юбки.

Маргарита не дернулась.

«Ну вот и всё, мать. Приехали», — подумала она.

Он уже стоял сам: рука на плече стала легче, пятки больше не вдавливало в пол. Полотенце она не отпускала. Секунду, другую. В ванной за спиной капал кран, который она перекрыла не до конца.

Маргарита шагнула ближе, почти уткнувшись лицом ему в грудь, и медленно развела полотенце в стороны тем же движением, каким минуту назад укутывала. Держала ткань обеими руками, а он стоял перед ней голый, и ни один из них не отвёл глаз.

Николай не смущался. С него всё ещё капало, и лужа у порога подбиралась к её босым пальцам. Серо-голубые глаза смотрели чуть выше её головы, туда, где были распущенные кудри и больше ничего.

— Ну что, — сказала Маргарита, — вперёд?

Он кивнул и шагнул за ней в комнату. Голый, не прикрываясь, хотя полотенце всё ещё было у неё в руках.

На кровать она села первой. Только тут сообразила, что сама ещё полностью одета, и это показалось нелепым. Сняла майку через голову, бросила на стул. Лифчик отстегнула и кинула туда же, без церемоний, как кидают то, из чего не делают события. Юбку скинула через пятки. Наклонилась снять остальное и тут почувствовала его взгляд.

Николай смотрел на неё, не отводя глаз. Ни пошлости, ни мальчишеского восторга, только чистое, до остроты простое внимание. Так смотрят на человека, которого хотят запомнить целиком.

«Запоминай, — подумала она. — Всё равно забудешь через год». И тут же поняла, что врёт и себе, и ему, и засохшей герани на окне в комнате.

Ночной сквозняк тянул с балкона, и кожа покрылась мурашками, несмотря на август. Маргарита села на скрипнувшую сетку. Кивнула. Николай лёг рядом, сначала на бок, потом на спину. Она подтянула его к себе, и он прижался грудью, неумело, не зная, куда деть руки.

Сначала он держал их на весу. Потом положил одну ей на бок, горячую после душа, и больше не двигал. Локтем другой прижал ей волосы к подушке, и Маргарита мотнула головой, высвобождая прядь.

— Волосы.

— Ой.

Губы у него были мягкие, чуть влажные. Он целовал её в шею, в ключицу, не торопясь, а лампочка светила ей прямо в глаза, и потолок стоял над ними белым пятном без трещин и краёв. Сама выбрала, подумала Маргарита. Она провела рукой по его животу, ниже, и взяла член в ладонь. Твёрдый, горячий, больше, чем она прикидывала утром на пляже. От этого стало смешно и хорошо: значит, не ошиблась.

— У тебя, кажется, сейчас случится, — сказала она, не прекращая движение.

За перегородкой снова закашлялись. Николай замер, Маргарита нет. Она ускорила руку, потому что у неё самой низ живота свело так, что тянуть дальше было незачем. Поджала одну ногу, прижалась бедром к его животу, и сетка провисла под ними ещё ниже, а покрывало съехало к стене.

Он не выдержал первым: зажал зубы и закрыл глаза, сжался, но крикнуть не крикнул, только выдохнул коротко, как будто ударили в солнечное сплетение. На запястье ей брызнуло горячим.

Маргарита взяла угол простыни и привела себя в порядок, не торопясь и не смущаясь, как приводят в порядок привычное.

«Ну, вот и всё, Маргарита Степановна. Первый блин», — подумала она про себя.

Руки Николая ещё дрожали. Она не стала ждать, пока он справится сам. Взяла его ладонь в обе свои и держала, пока дрожь не ушла.

— Прости, — сказал он. — Быстро получилось.

— У всех так первый раз, — ответила она. — Не расстраивайся.

Николай перевернулся на бок, чтобы обнять её, и панцирная сетка загремела так, что стенка задрожала. За перегородкой тот, кто слушал радио, выключил приёмник. Наверное, решил, что в квартире начался потоп. Или пожар.

Они замерли, вслушиваясь. В коридоре было тихо. Маргарита прикусила губу, чтобы не рассмеяться.

— Подвинемся, — сказала она и сдвинулась к краю кровати.

Николай устроился сзади, обняв её одной рукой за грудь, уткнулся лицом в шею. Ощущение было странным: она привыкла засыпать одна и к чужому дыханию у виска относилась примерно так же, как к комарам, но от этого конкретного дыхания не хотелось отодвигаться. Ни с кем ей ещё не было так. А мужчины у неё случались, и не раз.

— У тебя красивое тело, — сказал Николай через минуту.

Маргарита усмехнулась. Красавицей она себя не считала и к двадцати пяти свыклась с мыслью, что мужчины смотрят не на тело, а на то, как женщина держится, говорит и что делает руками. Но от его комплимента стало приятно. Приятнее, чем она ожидала от слов восемнадцатилетнего мальчика.

— А у тебя красивое всё остальное, — ответила она. — Только этим надо ещё научиться пользоваться.

Николай рассмеялся, не обиженно, а радостно, во весь голос, как смеются, когда похвала попадает в цель. Маргарита провела ладонью по его предплечью, выше, к плечу. Кожа была горячая, почти как после бани.

Хотелось не отпускать его никуда и не вставать, чтобы он остался хотя бы до утра, а утром можно будет решить, что делать дальше. Или не решить. Утром Маргарита всегда была мудрее ночной Маргариты, но сегодня ночная побеждала с крупным счётом.

Потом она почувствовала, что он снова готов. Поцеловал в ухо, в плечо, начал опускаться ниже и остановился, потому что не знал, можно ли. Она подтолкнула его движением бедра, и он понял сразу.

Вошёл он медленно, придерживая себя, и, чтобы не навалиться всем весом, упёрся ладонью в стену над её головой. Штукатурка была холодная. Он отдёрнул пальцы и упёрся снова. Больно не было. В какой-то момент она застонала, негромко, почти себе под нос, и Николай замер на полудвижении, прижавшись лбом к её затылку.

— Не останавливайся, — сказала она в подушку.

— Я сделал больно?

— Я сказала: не останавливайся.

Второй раз у него получилось дольше. Маргарита успела пожалеть, что кровать стояла вплотную к стене: трещала так, будто собиралась рухнуть. Стена выдержала. Сетка тоже. Сосед, вероятно, крестился.

Когда наступил финал, он не сжался в комок, а расправился всем телом, и на секунду стал красивым. Пятки его упёрлись в железную перекладину в ногах кровати, и перекладина звякнула.

Они лежали рядом, потные, голые и довольные. С улицы тянуло сквозняком. Пахло морем, тёплым асфальтом и ржавчиной, наверное, от балконной решётки.

— Хочешь воды? — спросила Маргарита.

— Ага.

Она взяла с тумбочки пустой стакан, тот, что стоял рядом с кипятильником, и пошла на кухню по тёмному коридору: мимо двери соседа, за которой теперь было тихо, мимо ванной,

где на пороге так и не высохла лужа. Обратно несла полный и держала его обеими руками. Николай выпил половину и поставил стакан на подоконник, рядом с мёртвой геранью. Стекло звякнуло о жестяной поддон.

— Тебя как звать по-настоящему? — спросил он, глядя ей в лицо.

— Маргарита. Я же сказала сразу.

— А фамилия?

— Забудь. Так будет проще.

— Хорошо, — сказал он, и голос сел на полтона ниже.

За стеной снова включили радио. Диктор объявил время: тринадцать минут первого.

Маргарита дошла до двери и погасила голую лампочку.

За окном шумело море.

Так закончился их первый раз.

Глава 5. Десять дней

Николай проснулся оттого, что солнце било прямо в лицо. Занавески в комнате не было вовсе, только марлевая тряпица на гвозде сбоку, которая не закрывала ничего и, судя по всему, квартирантов это устраивало. Свет лежал на веках плотно, почти твёрдо, как предмет.

Глаза он открывать не спешил, полежал, слушая комнату — сетку под собой, запах чужого белья, тишину за стеной, где вчера кашлял сосед, — и протянул руку туда, где полагалось быть теплу. Место рядом было пустое. Простыня ещё держала вмятину, но тепла в ней не осталось, и его будто спросонья опрокинули в холодную воду. Он открыл глаза, увидел над собой потолок, трещину, идущую от угла к лампочке, и подумал только одно: ушла.

Ушла, потому что было плохо: он не умеет и не знает ничего, кроме дат и источников, а в постели от них толку никакого, вот она и досидела из вежливости до утра, собрала вещи и вышла тихо, чтобы не будить. Восемнадцать лет он прожил, зная наверняка, что нравится всем и всегда, и хватило одной ночи, чтобы эта уверенность легла рядом с ним, в ту же вмятину, и тоже остыла.

Так он пролежал недолго, чувствуя, как подкатывает к горлу тяжесть, вовсе не мужская. Потом дверь скрипнула, и он вздрогнул так, что сетка отозвалась коротким железным скрежетом.

Маргарита вошла с разделочной доской в руках. Подноса в этом хозяйстве отродясь не водилось, и доска была хозяйкина, хлебная, с щербиной по краю.

На доске лежали помидоры, брынза на клочке газеты, хлеб, два варёных яйца и кисть винограда, из которой уже выели несколько ягод. Выели по дороге, и следствия тут не требовалось. Рядом покачивался стакан с чаем.

Волосы у неё были мокрые, зачёсанные назад, и с прядей капало на застиранную блузку. На босоножках налип песок: она успела сходить к морю, пока он спал.

— Ты живой вообще? — спросила она, не глядя на него, и поставила доску на край кровати, туда, где сетка проседала меньше.

Николай сел. Холодный ком внутри растворялся медленно, как отходит отсиженная нога, и на умный ответ его не хватило. Он кивнул и уставился на неё во все глаза: она вернулась оттуда, откуда, как он только что решил, не возвращаются.

— Ешь, — сказала Маргарита и придвинула доску, садясь боком на край кровати, спиной к окну, чтобы свет не бил в лицо. — Хозяйка со своими помидорами носится, как с делегатами съезда. Постояльцам жалко, а мне продала по знакомству.

Она разбила скорлупу яйца о край доски и вдруг сказала тем же ровным тоном, каким только что говорила про помидоры:

— Я, между прочим, первый раз в жизни это делаю.

Николай замер с ломтем хлеба в руке, не донеся его до рта.

— Что делаешь?

— Завтрак приношу мужику в постель.

И, не дав ему секунды подумать над этой фразой, повела плечом в сторону тумбочки, где лежал хозяйкин кипятильник, алюминиевый, рядом с розеткой.

— Эта штука двадцать минут воду греет, ты представляешь? Я думала, помру, пока чай заварю. Хозяйство у неё — каменный век.

Говорила она быстро и раздражённо, жалуясь на пустяк, и всё вертела в пальцах мокрую скорлупу. Николай про кипятильник не расслышал ничего, кроме одного: она варила чай для него. Первый раз в жизни. Ему.

Такой нежности он не получал ещё ни от кого. Отец отмерял заботу путёвками и часами, добытыми через людей, которых Николай не видел. Мать помнилась плохо. И в горле опять сжалось, только теперь по другой причине.

Он заметил лишь, что она заторопилась с той самой секунды, как это сказала. И кипятильник с хозяйкой понадобились ей лишь затем, чтобы фраза не висела в воздухе дольше положенного.

Правило про десять дней без фамилий и без будущего завела она сама, и он держал его честно. Ему и в голову не пришло, что нарушила его она, первой, в первое же утро, принеся чай и помидоры на хозяйкиной доске. Он слышал только то, что слышат в восемнадцать, и хлебная корка крошилась у него в кулаке.

— Ешь давай, — повторила Рита и сунула ему в руку кисть винограда. — А то остынет. Хотя чай тут остыть не может физически, ему для этого надо сначала нагреться.

Он отправил виноградину в рот и посмотрел на мокрые волосы, на песок на босоножках и на взгляд, направленный куда угодно, только не на него. Так, с доской на коленях, он мог бы сидеть всю жизнь. А страх, который он пережил перед её приходом, был самым глупым страхом за все его восемнадцать лет.

За стеной ожило радио соседа. Позывные «Маяка», четыре ноты, которые по утрам звучали из каждого второго окна от Бреста до Владивостока. Диктор объявил половину девятого, и лицо у Маргариты переменилось: из домашнего стало деловым, почти строгим.

— Ешь и беги, — сказала она, отодвигая доску. — У вас там перекличка в девять, а дежурная твоя, я думаю, не из тех, кто верит на слово.

Яйцо он очистил в четыре движения, засунул в рот целиком, прожевал, запил чаем и обжёгся. Морщась, он сообразил: его впервые в жизни выгоняли так, что хотелось остаться.

Дальше дни потекли быстро и слитно, и вспоминались они потом не по числам, а по запаху. Помидоры с солью. Виноград на газете. Боковая калитка дома отдыха, отысканная на второй вечер и открываемая так уверенно, будто он сам её и навешивал.

Калитку сторожил ржавый крючок, и больше никто. На вход с моря государство поставило вахтёра за трёшку, а на крючок со стороны прачечной его уже не хватило.

Расписание дежурной Николай выучил наизусть: перекличка в девять, обход в одиннадцать. Между этими двумя точками умещалась вся его жизнь, как он теперь называл это про себя. Вслух он такого не сказал бы ни за что: для семинара у него слова находились всегда, а тут не находилось ни одного.

Ночами они почти не спали. В третьем часу он уходил через ту же калитку, чтобы к перекличке лежать в своей койке и делать вид, что ночевал в ней. Остальное съедали разговоры, которые начинались и кончались ни о чём, а тянулись часа по два.

Ели они прямо над раковиной, чтобы крошки не сыпались на кровать. Виноград таскали с рынка кистями, заворачивали в старые «Известия», а после бросали газету под стол. К концу недели под столом выросла гора смятой бумаги. Хозяйка на неё посматривала и молчала: постояльцы платили вперёд, и раз в три дня она сама выносила эту гору в бак у забора.

Купаться они ходили левее общего пляжа, за скалу, где галька была крупнее и злее, зато людей почти не было. Вода к концу августа прогрелась и не освежала, а обволакивала, будто лезешь не в море, а в парное молоко. На закате пляж пустел, и они слушали, как галька перекатывается под волной с сухим стеклянным звуком.

Молчать приходилось часто, особенно когда за стеной начинали ходить соседи. Половицы там скрипели предательски, и оба замирали, как школьники, застигнутые за запрещённым, хотя запрещать было решительно некому.

Двадцать четвёртого Николай принёс ей коробку конфет «Мишка на Севере». Достать их в Мисхоре можно было только в одном месте — в буфете дома отдыха, куда посторонних не пускали. Деньги были, разумеется, отцовские, потому что других у него не водилось.

Вручал он её гордо и слегка неловко, всем видом показывая, что подарок не особо дорогой. Маргарита взяла, повертела в руках, нашла цену на этикетке и молча поставила коробку на подоконник рядом с геранью. Упаковка так и осталась нетронутой — ни в тот день, ни назавтра.

Николай так и не понял, чем провинился, а спросить не решился: в её взгляде читалось, что вопрос будет некстати. Он мог назвать по памяти год Нантского эдикта и число покушений на Генриха VIII, но женщину, обидевшуюся на конфеты, ему не объясняла никакая историография.

Наутро она уехала одна, ранним рейсовым автобусом до Ялты, не сказав ни куда, ни зачем, и вернулась к вечеру с запахом чужого кафе на блузке. Николай прождал её весь день — это, решил он, ещё одно правило, которое ему не удосужились объяснить. Когда она появилась, он только сказал, что скучал, и Маргарита потрепала его по щеке, как треплют подростка.

Ссора вышла из пустяка, как выходят все ссоры. Они сидели на парапете, и Николай сказал, что закат сегодня интересный, просто чтобы сказать хоть слово. Маргарита фыркнула: слово «интересный» не значит ровно ничего, оно для тех, кому лень подобрать настоящее определение, и если интересен закат, то интересна и лекция по научному коммунизму.

Николай возразил и получил такую отповедь о бедности мышления, что предпочёл замолчать. Полчаса они просидели рядом, глядя каждый в свою сторону. Мошкара облаком висела над парапетом, и никто её не отгонял.

В один из этих дней, а в какой, потом уже не вспомнить, родилось слово, оставшееся с ними на сорок шесть лет. Маргарита стояла по колено в воде и сказала про хозяйкин кипятильник: греть воду двадцать минут ради одной чашки, конечно, безобразие, но это не считается, раз чай выходит вкуснее любого другого.

Николай переспросил, и она объяснила коротко: есть вещи, которые нарушают порядок или здравый смысл, но раз уж они случились и вышли хорошо, спрашивать с них нечего. Не считается, и всё тут.

Он попробовал слово на вкус и стал примерять к разным случаям. К тому, что они не спят вторую ночь подряд. К лишней порции мороженого при деньгах в обрез. И к тому, что они вообще есть друг у друга, вопреки её же правилу про фамилии и будущее.

С тех пор «не считается» сделалось у них паролем на всё, что не помещалось в отведённые дни и установленные ими же правила, и произносили они это легко и со смехом. Слово переживёт и десять дней, и это лето, и тех двоих, какими они были в августе, и вернётся через почти полвека, сказанное тем же голосом и уже без смеха.

На пятый день простыня не пахла уже ничем: ни мылом, ни бельём, ни человеческим теплом. Маргарита каждый вечер собиралась попросить у хозяйки чистую и откладывала. Завтра будет дождь, завтра они поедут на виноградник, завтра не до постели. Завтра никак не наступало.

В тот вечер она шла в комнату босиком, по тёплым крашеным доскам, которые отзывались на каждый третий шаг. Половицы она успела выучить и наступала мимо самых голосистых, хотя таиться тут было не от кого. Руки у неё были пустые: ни книги, ни воды, ни сигареты. Последнюю выкурила вчера, купить забыла, а просить у Николая новую пачку не захотела, хотя он купил бы не задумываясь.

Спрашивать, кому что нужно, они давно перестали. Виноград приносил он, за мороженым она шла сама, взяв у него деньги, и оба делали вид, что так и надо. Хозяйка сказала бы: мелкобуржуазный уклад. Впрочем, у хозяйки были свои странности, и компот она варила исключительно из сушёных яблок, хотя сад за домом ломился от свежих груш.

В комнате стояла духота. Окно во двор Маргарита приоткрыла, там под фонарём двое разбирали завал досок. Один ругался в голос, другой выговаривал себе под нос так ровно, будто пересчитывал кассу после ревизии.

Маргарита стояла у подоконника, выплёвывала виноградные косточки в темноту и смотрела, как Николай готовится ко сну.

Восемнадцать лет. В её кругу такой возраст для мужчины считался не биографией, а диагнозом. Взрослого в нём было ровно две вещи.

Первая — манера надевать рубашку: торопливо, не застёгивая нижних пуговиц, так что подол топорщился и оголял живот. Вторая — походка, резкая на первом шаге, будто он всюду опаздывает, хотя на пляж приходил первым и терпеливо стоял с полотенцем, дожидаясь, когда она соберётся.

Он вошёл тихо. С порога снял майку, бросил на стул, сел на кровать и поджал под себя ногу. Худым он не был, но мышцы у него проступали под тонкой кожей, словно жили отдельно друг от друга, и, когда он тянулся, на груди проступали дорожки, как на медицинском плакате, только без латинских подписей.

Тело было наполовину подростковое, а внутри уже помещался взрослый мужчина, и Маргарита каждый раз смотрела на это с неуместным удивлением. Двое выглядывали наружу по очереди и, кажется, не были друг с другом знакомы.

— Давай, — сказал он и похлопал по простыне. — Холодно.

Маргарита легла рядом не раздеваясь. Раздевать её начал он, не хватая, а обстоятельно: скатал бретельку майки, потянул вверх, чтобы голова выскользнула сама. Она не сопротивлялась и не помогала, просто лежала и наблюдала, как он справляется с задачей. Смешного и грустного в этом было поровну: она чувствовала себя не предметом желания, а изделием кружка «Юный техник» на районной выставке.

Он обнял её за талию, притянул спиной к себе и стал целовать в плечо, потом ниже, потом почти до лопатки. Движения у него переменились. Он не повторял увиденное у взрослых и не копировал даже того, что она сама показывала ему в первые ночи.

Ни на кого из её прежних он не походил. Прежних к двадцати пяти у неё набралось немного — хватало пальцев одной руки, чтобы пересчитать, и почти все были нелепы и торопливы. Этот был осторожен, будто не вполне уверен, что ему это позволено, и одновременно решил, что дальше будет делать так, как считает правильным.

Целовал он её плечо не жадно и не в засос, а пробуя губами на ощупь, и поцелуй выходил не женский и не мужской, а детский и слегка испуганный. Маргарита сжала его руку у себя на талии. Хотела сказать что-нибудь пошлое или обидное, вроде «у тебя опять ничего не выйдет», и не сказала: во рту пересохло, и язык сделался чужим.

Николай никуда не спешил. Гладил, находя ладонью рёбра, ключицы и внутреннюю сторону бедра, и даже не трогал того, чего ждали от неё все её прежние кавалеры, а словно выяснял, что тут есть ещё. Провёл рукой по животу, медленно, будто проверял температуру. Ладонь задержалась на секунду, и Маргарита поняла, что поймал он на этой паузе не её, а себя. И тут же отпустил.

Дышал он часто, почти шумно, и Маргарита с удивлением обнаружила, что дышит с ним в такт. Дыхание она всегда держала при себе, и это её разозлило.

Она же собиралась вести. Как привыкла всегда: задавать темп, подсказывать движение, вовремя отстраниться и посмотреть, что вышло. А тут не выходило. Он шёл впереди, под ноги ей не заглядывал, и всякий раз, когда она тянулась перехватить инициативу, он опережал. Ловил руку, менял положение и прижимал так, что для её любимой игры в отдаление не оставалось и щели.

Опустившись к её животу, он сперва не сообразил, что делать. Потом стал целовать всё вокруг, по кругу, по спирали, будто искал нужное место на ощупь. Найдя, не колдовал языком и не мучился: водил кончиком медленно и однообразно, видно, догадавшись, что больше не значит лучше.

Маргарита не выдержала, сжала его голову руками и хотела прижать к себе. Он вывернулся и засмеялся тихо, даже не засмеялся, а выдохнул смешинку, как выдыхает выигравший в подкидного с последней, самой безнадёжной карты.

Злость в ней поднималась ровно и глухо. На него и на себя, на всё, что в жизни не складывается по плану. Прежние были проще: их приручали лестью, игрой на публику, смешным розыгрышем и маленькой обидой. Этот не покупался ни на одно, ни на другое. Когда она подталкивала его к обязательному, как ей казалось, он либо не понимал, либо изображал непонимание и продолжал так, как решил сам.

Когда они соединились, она ждала торопливого и некрасивого, как в первый раз. Но он двигался медленно. Может, боялся сделать больно, может, сам не знал, куда это ведёт. Она выждала пару движений и попробовала ускорить, но он не дал: сжал бёдра, притянул к себе и удержал ритм.

Тяжёлое влажное дыхание било ей в затылок, и под рукой билась синяя вена, которой она прежде не замечала. Маргарита считала удары, пока не сбилась со счёта.

Разрядка пришла не вспышкой. Горячая волна накрыла с головы, скатилась по затылку вниз и потом ещё долго сотрясала всё тело, и Маргарита не сразу поняла, что это было именно «оно».

Стонать она не стонала: голос куда-то делся, вдохнуть как следует не получалось. Просто лежала, сцепив руки у него на спине, и слышала, как каждая мышца по очереди говорит «достаточно, остановись».

Николай не остановился. Двигался долго и, только поняв, что дальше нельзя, сжал её так, что выдавил воздух из лёгких. Вздрогнул, не крикнул, замер.

Потом обнял, слишком крепко, всем телом, как обнимают дети, и долго не отпускал. Дыхание у него выравнивалось понемногу, и только тогда она заметила, что ладонь его всё это время лежит у неё на бедре. Лежит не на пробу, а по праву, будто эта часть тела перешла в его собственность.

«Ах ты ж!» — подумала Маргарита. Вслух не сказала ничего: любое слово было бы сейчас оскорблением.

Уснул он, не отпуская её: лицом в ключицу и с рукой на бедре, тяжело сопя ей в шею. Волосы у него были мокрые и пахли морем и немного её духами.

Маргарита лежала с открытыми глазами и заснуть не могла. В голове по кругу вертелась одна мысль: она проиграла. Мало того, просчиталась с первого хода.

Думала, что игра под её контролем и что достаточно держать дистанцию, не называть фамилий и не брать в голову ничего, кроме удовольствия. А вышло, что это не десять дней, а минус вся остальная жизнь. После этого мальчика ни один мужчина, сколько бы ни прошло лет, настоящим для неё уже не станет.

Голова не болела, но тяжесть в ней стояла всю ночь. В скрипе половиц за стеной и в крике чайки во дворе, даже в звуке ветра за окном ей слышался ритм его дыхания. Она попробовала сдвинуться и высвободить руку и не смогла: пальцы у него не разжимались даже во сне.

«Вот так, — подумала Маргарита. — Всегда надеялась, что этого не случится. А случилось не в столице и не в аудитории института, даже не дома, а у моря, в комнате с крашеным полом и хозяйкиным кипятильником, с мальчиком-подростком, почти ребёнком».

Ни боли, ни стыда, ни желания вырваться она уже не чувствовала. Осталось чистое плотное осознание: вот это и есть любовь. Никакой поэзии и никаких высоких слов, только тяжёлая рука на бедре и запах моря на застиранной наволочке. Такое понимают про себя молча и не рассказывают потом всю жизнь, особенно если на дворе тысяча девятьсот восьмидесятый, и заплакать сейчас было бы можно, только толку от этого никакого: тело уже дало показания, и оспорить это было нечем. Шестой их день в Мисхоре кончался дождём, вода стучала по подоконнику.

Муха билась в стекло упорнее всякого зверя: прозрачное и проходимое было для неё одно и то же. Билась, отлетала, снова билась. К десятому заходу Маргарита стала за неё болеть — делать было всё равно нечего. Николай ушёл в дом отдыха сразу после обеда и обещал вернуться к ужину, и все эти часы — послеобеденные, самые скверные в южном лете, когда даже кошки уходят в тень, — принадлежали ей одной, отчего легче не делалось. Жара под крышей стояла такая, что воздух казался неподвижным, как студень в банке. Внизу мерно и само по себе шумело море, а здесь, на раскалённом подоконнике, торчала мёртвыми стеблями герань и лежала нераспечатанная коробка конфет.

Подобрав под себя ноги, Маргарита держала на коленях ксерокопию Стендаля. Страницы были серые и слепые, буквы то жирнели, то пропадали вовсе, и слова приходилось угадывать по соседним. Химический запах копии к пятому дню чтения въелся в подушку не хуже табака.

Листы съезжали с колен: жара размягчила всё, включая бумагу. Маргарита придерживала их локтем и в который раз читала одну и ту же страницу автоматически, не понимая ни слова. Мысли текли мимо текста, совсем о другом.

«Кристаллизация. Твою мать. Ну спасибо, Анри. Веточка в соляной шахте: сунул, два месяца подождал и вытащил всю в алмазах, глаз не отвести. Наращено, придумано, а ветка как была голая, так и осталась. К октябрю осыплется всё, что наросло, и вернётся обычная палка. Хорошо бы.

Одна беда: наращивать не на чем. У Стендаля хоть ветка была, хоть шахта. А тут что? Кто он? Не знаю. Откуда? Не знаю. Фамилия? Не спросила. Сама же и не спросила, умница, предусмотрительная, чтобы потом не искать и не бегать, не выяснять по адресным столам. Голое имя. Пустое место вместо человека. А ведь есть. Стоит перед глазами весь целиком, до последней родинки».

Маргарита поднялась и сделала три шага до окна. Всего три: комната была такая, что больше и не сделаешь. Тронула пальцем стекло, горячее до ожога, отдёрнула руку и постояла, глядя на пыльную дорогу, по которой в такой час никто в здравом уме не ходит.

Потом вернулась и села обратно на кровать. Листы соскользнули на пол веером, и поднимать она их не стала. Пусть лежат.

«Значит, не кристаллизация. Другое, чего в этой книжке нет и быть не может. Писал её взрослый битый мужчина, и про такое он, наверное, не думал никогда.

Ну, мальчик. Два — ноль в твою пользу, можешь записывать в блокнотик, если ведёшь. Дожили, Маргарита Степановна. Приехала отдохнуть называется. Прописала себе десять дней моря и покоя, а получила невроз пополам с бессонницей и полное отсутствие аппетита ко всему, кроме одного конкретного человека.

Ладно. Давай уж честно, раз никто не слышит, кроме мухи, а муха не считается.

Так хорошо мне ещё ни с кем не было. Ни с одним. Хоть убей, хоть на партсобрании спроси — не было. Попала ты, мать. По самые уши, и хуже всего, что не вчера. В первый же вечер, на танцплощадке, когда он держал меня так, будто боялся разбить, а я ещё смеялась над этим про себя.

А теперь встань и посмотри на себя, Маргарита Степановна. Честно, при дневном свете и без скидок. Двадцать пять лет. Аспирантка третьего года. Взрослая баба с диссертацией на подходе и с будущим, расписанным на годы вперёд так подробно, что и заглядывать в него скучно.

И кто у меня в постели девятую ночь подряд? Мальчик. Восемнадцать лет. Школу он, поди, только весной кончил, аттестат зрелости получил, а зрелости в нём и вправду на донышке. Соблазнила ребёнка называется. И сидит теперь, Стендаля почитывает, умные мысли изображает про кристаллизацию.

Ему учиться надо. Жить надо, целую жизнь, длинную: институт закончить, жениться на ровеснице и детей завести. А у меня наука третий год, шеф, диссертация, кафедра ждёт, я

себе, кроме этого, ничего и не планировала никогда, а тут вдруг… Какое у нас вообще может быть совместн…»

Слово застряло на середине, будто под язык попал камешек. Маргарита резко поднялась.

К вечеру жара спала, и набережная налилась народом, как всегда в курортных городках в последние дни августа: все разом спохватились, что отпуск кончается.

Николай шёл быстро, почти вприпрыжку, и в кулаке у него был зажат бумажный кулёк из сувенирного киоска. В кульке лежал жестяной значок с ялтинской чайкой, дешёвая штамповка копеек за пятнадцать. Чайка вышла кривая, с одним крылом длиннее другого.

Выбирал он её сам и долго, перебрал десяток таких же брошек, и деньги отдал свои: позавчера выручил их у соседа по дому отдыха за старые джинсы. Не отцовские, свои, и по дороге он два раза переложил их из кармана в карман.

Он уже придумал, что скажет: чайка, конечно, кривая, зато честная, все ровные разобрали. Заготовке он улыбался всю дорогу и повторял её про себя, как когда-то в школе даты Утрехтского конгресса.

Дверь открыла хозяйка. Долго возилась со щеколдой, вышла вразвалку: торопиться ей было давно некуда. Вытерла руки о передник и посмотрела на него снизу, поверх очков.

— Съехала, — сказала она прежде, чем он успел спросить хоть слово. — Часа три как.

— Как съехала? — переспросил Николай.

Вопрос вышел глупым, он почувствовал это сразу, но лучшего в голове не нашлось.

— Обыкновенно. Чемодан собрала, расплатилась и ушла. На автобус, говорит, тороплюсь.

— Она не оставила ничего? Не сказала куда?

Хозяйка пожала плечами и оглянулась на кастрюлю, оставленную на плите.

— Ничего не оставила. И не сказала. А заплачено у неё было до завтра, между прочим, — прибавила она обиженно, будто у неё отняли уже полученные деньги, — а съехала на день раньше. Я ей говорю: куда спешишь, живи ещё сутки, чего добру пропадать. А она своё: тороплюсь, тороплюсь.

Дверь в комнату была приоткрыта, и Николай заглянул туда мимо хозяйкиного плеча. Панцирная сетка стояла голая, матрас скатали в рулон, а у кровати ждал чужой чемодан: следующего постояльца хозяйка успела заселить в тот же вечер.

Герань всё так же торчала мёртвыми стеблями, и рядом стояла нераспечатанная коробка «Мишки на Севере», которую она не взяла с собой. И кипятильник всё так же лежал на столике у розетки, тот самый, двадцать минут на чашку. В комнате пахло уже не ею, а мокрой тряпкой и содой.

— Ты заходи, если что, — сказала хозяйка, прикрывая дверь. — Комната через недельку освободится, если надумаешь.

Он ответил, кажется, поблагодарил и пошёл вниз. Жестяной край чайки впивался в ладонь всю лестницу.

Спрашивать было не у кого и не о чем. Не было ни фамилии, ни города, не было даже отчества, только имя — короткое голое «Маргарита», сказанное на пляже в первый час знакомства. Стену про фамилии и про будущее, которых не спрашивают, она складывала все десять дней, и теперь вот положила в неё последний кирпич.

Ложиться и горевать он не стал. Ещё на лестнице он считал: три часа назад, значит, она сейчас на подъезде к Симферополю. Железной дороги в Мисхоре нет, автобусом до Ялты, оттуда ещё часа полтора по серпантину. Такси ловится только у ворот дома отдыха и обойдётся рублей в двадцать.

Деньги были. Отцовские, отдельным конвертом в чемодане, на всякий случай. Конверта он не вскрывал с самой Москвы.

Николай побежал в дом отдыха, вытряхнул конверт из чемодана и махал рукой у ворот, пока не остановилась побитая «Волга». Залез, назвал вокзал, сунул водителю четвертной вперёд и попросил гнать. «Волга» пошла по серпантину так, что стало ясно: за четвертной тут возят и быстрее.

В Симферополе на вокзале стоял гул и пахло мазутом. Площадь была забита людьми и чемоданами, очередь к кассе тянулась через весь зал. Николай пробился к окошку без очереди и получил в спину два замечания и одно ругательство, заслуженное.

— Девушка, — сказал он в окошко, задыхаясь. — Тёмные волосы. Зовут Рита. Лет двадцать пять примерно.

— И что я тебе, милок, по имени искать буду? — спросила кассирша, не поднимая головы от бумаг.

Он молчал.

— Куда ехала?

Молчал.

— Откуда она сама?

Николай промолчал в третий раз, и кассирша наконец подняла на него глаза. Не зло — устало, как смотрят на дурака, спросившего то, чего в природе не существует. И ведь права.

— Парень, отойди, за тобой люди, — сказали сзади.

Он отошёл.

Вокзал жил своей жизнью и его не замечал. Носильщики катили тележки, объявляли посадку на московский поезд, у стеклянных дверей голуби подбирали крошки, оброненные тысячами уехавших до него, и когда рядом со скамьёй опустилась женщина с авоськой банок, Николай сел на ту же скамью.

Три последних дня оплаченной путёвки он бросил. Она бросила оплаченную до завтрашнего дня комнату, про этот оплаченный день ему сказала хозяйка, а про свои три он не скажет никогда: говорить будет некому.

Вокруг объявляли прибытие и отправление поездов, плакал ребёнок, у кассы смеялись и ругались, а он сидел среди этого совершенно один, как не придётся ему сидеть больше ни разу за всю оставшуюся жизнь, и держал руку в кармане, на значке с кривой чайкой. Достал, повертел в пальцах, спрятал обратно. Жесть нагрелась от ладони и держала тепло.

Глава 6. Осень

Коробку шоколада Николай так и не решился забрать с чужого подоконника и оставил рядом с засохшей геранью. В Москву он вернулся в последних числах августа, ссутулившись, с брезентовой сумкой через плечо и в джинсах, которые отец когда-то достал через знакомых: раньше они ему нравились, а теперь он их не замечал, донашивал, и ткань на коленях вытерлась и побелела. В плацкартном вагоне сосед, инженер из Запорожья, завёл разговор про виды на урожай с тётками, разложившими на столике курицу и помидоры с варёной картошкой, а Николай молчал так добросовестно, что попутчики сочли его иностранцем и до самого Курска разговаривали вполголоса.

Москва встретила его холодком, который наступает в один день, будто кто-то дёрнул рубильник. Отец открыл дверь. Отметил загар, спросил, хорошо ли отдохнул, и ушёл к себе дочитывать историю болезни, а рассказывать всё равно было нечего, даже если бы он захотел: ни имени, ни фамилии своего приключения он не знал, остался только подоконник с засохшей геранью и запах нагретой гальки.

Несколько дней до начала сентября ушло на то, что он про себя называл поисками: диск телефона он накручивал по двадцать раз на дню и повторял одно и то же — Рита, тёмные волосы, лет двадцать пять примерно.

На четвёртый день его соединили с мисхорским домом отдыха.

— Она в августе была. Комнату снимала где-то рядом с вами. Маргарита.

— Милый мой, у меня за смену восемьсот человек по путёвкам, — сказала трубка голосом усталым и не злым. — А «дикари» нигде не значатся, они же не мои. Хочешь, по спискам гляну?

Он слышал в трубке шелест страниц и голос рядом, требовавший ключ от четвёртого корпуса.

— Есть Маргарита Петровна, шестьдесят два года, Донецк. Она?

— Не она.

— А фамилия-то её как?

Ответить было нечего, и трубку собеседница положила сама.

Потом были ялтинская справочная и адресное бюро, где ему вздыхали в ответ, что в Крыму этим летом было полстраны, а Маргарит там — как Ивановых в телефонной книге.

Николай вешал трубку и слышал себя со стороны: человека, которого знал наизусть, он описывал словами из объявления о пропавшей собаке. Собаке полагались бы кличка и порода.

Первого сентября первокурсников собрали в большой аудитории, где пахло мелом, мастикой и сквозняком из растворённых окон. Николай занял место у окна, раскрыл тетрадь по обязанности, придавив ладонью пружинящие страницы, и слушал, как вокруг знакомятся, называя имена, школы, районы и проходные баллы.

Анастасия Юрьевна вошла минута в минуту, сухая, с папкой под мышкой. Следом протиснулся полноватый мужчина лет пятидесяти в костюме не советского пошива, с портфелем, который держал обеими руками, прижимая к животу.

— Товарищи студенты, — сказала завкафедрой голосом, привыкшим покрывать зал без повышения тона, — у нас коллега из Германской Демократической Республики, по обмену опытом. Весь осенний семестр он читает вам курс. По-русски, так что на снисхождение не рассчитывайте. А наш преподаватель истории нового времени этот семестр проводит в ГДР. Вернётся к февралю.

Ни имени, ни фамилии не прозвучало, да их никто и не ждал. Николай записал это машинально и не заметил, что записал. Он думал про брезентовую сумку, задвинутую дома под вешалку. От неё уже не пахло морем, только пылью и старым брезентом.

Осень потекла рывками, как вода в засорившейся трубе. Поля тетради он заполнял датами так плотно, что между строчками не оставалось места ни для чего постороннего, и учился в ту осень на удивление хорошо. Один из ассистентов сказал на кафедре, что молодой человек далеко пойдёт, если не сопьётся раньше диплома.

В конце октября он сделал последнюю попытку, поймав нужного человека в курилке. Парень с третьего курса летом отдыхал в тех же краях.

— Риту не встречал случайно? Тёмные волосы, лет двадцать пять.

— Коваленко, там этих Рит на каждом лежаке по две. Ты вообще фамилию спросить не мог?

— Не мог, — честно ответил Николай.

— Ну, значит, не судьба.

Сказал он это без злобы и повернулся к расписанию пересдач, водя пальцем по строчкам сверху вниз.

После этого Николай замолчал. Забыть он не пытался и вряд ли сумел бы, просто спрашивать стало не у кого. Историю, произошедшую в августе в Мисхоре, он поместил в дальний угол памяти, где уже лежала фраза про операцию, услышанная в двенадцать лет из-за приоткрытой кухонной двери.

На семинаре у немца, в аудитории, где батареи топили по календарю, а не по погоде, староста курса Кира разложила в первом ряду карточки, подписанные мелким почерком: дата, тема и фамилия автора, никакой отсебятины, всё по ГОСТу. Карандаш она затачивала до синего лака. Такой старосту знала вся группа. Заметил Николай в тот день другое: она красивая, и этим в институте никто не интересуется, включая её саму.

Немец продиктовал список книг, потом задумался, спросил, нет ли вопросов, и опустил глаза в бумаги. Кира подняла руку первой. Николай поднялся следом.

— У меня про методологию Хольца, — сказал он. — Он пишет, что Реформация была не столько религиозным сдвигом, сколько социальным, а страницей позже отказывает женщинам эпохи Лютера в какой бы то ни было социальной роли. И данные, которыми он это подпирает, старые.

Кира повернула голову на его голос.

— Коваленко, ты, оказывается, первоисточники читаешь, а не рефераты?

— А что, нельзя?

— Можно, — сказала она, и голос у неё впервые за утро сошёл с казённой ноты. — Даже нужно. Только никто не читает, кроме меня, поэтому мне скучно — обсудить не с кем.

Они переглянулись через два ряда. Кира первой вернулась к карточкам, но карандаш в пальцах остановился на середине строки.

После пары Кира остановила его у окна и без предисловий попросила взять ей в библиотеке на Кропоткинской учебник Вулфа.

— А что взамен? — спросил в шутку.

Шутки Кира не заметила.

— Доступ к моей картотеке. Это больше, чем даст любой преподаватель на курсе.

Учебник он принёс ей назавтра. Они вышли на улицу, где уже темнело, и Николай впервые заметил, что с Кирой легко: не надо ни придумывать разговор, ни изображать кого-то другого.

На углу она предупредила, что дома к чаю ничего нет, кроме маминых пряников, что идёт ремонт и на кухне с утра до ночи орёт кот.

На лестнице хрущёвки пахло сырым бетоном и жареным луком, в квартире — варёной капустой и мастикой для пола. Кот сидел на подоконнике и ворчал на голубей. Кира смахнула его на пол не глядя и занялась чаем: сахар в одной банке и заварка в другой, вода налита с утра, чтобы не терять времени.

Николай смотрел, как она работает. Именно работает: чай у неё шёл стадиями, от кипятка на заварку до полотенца, наброшенного поверх чайника. Чёрствые пряники скрипели на зубах, и они ели их не спеша. Вечер выходил обычный, и его почему-то хотелось продолжить.

Карточки она показала после чая, в комнате, где вместо мебели стояли стеллажи с коробками, а от бумаги тянуло пылью и клеем.

— Тут всё дело в источнике, — сказала она. — Кто в него не смотрел, тот повторяет за другими.

Перебирали они карточку за карточкой.

— Ты сам-то влюблялся когда-нибудь? — спросила она вдруг.

— В августе, когда поехал на море, — сказал он и удивился, что выговорил это ровным голосом. — Если честно, в первый же день.

— Тогда всё ясно, — кивнула Кира и отошла к окну. — Я не влюбляюсь. Никогда. У меня всё идёт через голову. Это я к тому, что удивляться потом не надо.

Николай кивнул с таким видом, будто понял, и потянул к себе верхнюю карточку из стопки.

Свет они выключили, когда за окном стемнело окончательно. Всё вышло молча и сразу: легли поверх покрывала, сначала рядом, потом она подложила ладонь ему под плечо и притянула к себе.

Николай лежал в темноте и слышал, как часто бьётся у неё пульс на шее. Волосы пахли не так, как у Маргариты, и не так, как утром на семинаре, а по-новому, резким и тёплым запахом какого-то средства, втёртого в корни на ночь.

Потом Кира повернулась к нему, села сверху и долго молчала, только смотрела в темноте. Он не делал ничего и ждал, положив ладони ей на колени, и слышал, как за стеной ворчит на голубей кот.

Рубашку она с него не сняла, а рванула так, что пуговицы застучали по полу и одна укатилась под стеллаж. Свою майку стянула одним движением, не отпуская его. Грудь у неё была маленькая, почти мальчишеская, с тёмными сосками, живот ровный, без единой складки, и когда он провёл по нему ладонью, она вздрогнула.

— Аккуратней, — сказала Кира и перехватила его запястье, задержав на секунду.

Двигался он иначе, чем в Крыму. Без суеты, ничего определённого не ожидая, и удовольствие приходило само, отдельно от всего прочего, словно любовью занималось его тело, а не он сам. Кира позволяла всё, но ритм держала сама: если ей не нравилось, замирала, а если нравилось, прикусывала губу и дышала чаще.

Сравнение он не звал, оно пришло само, посреди темноты и чужого дыхания. В Мисхоре он ловил каждое движение и боялся не угадать, а дышать забывал так, что ему напоминали об этом в самое ухо. Здесь дышалось ровно, потому что угадывать было нечего.

Маргарита вела его и ждала, что он поймёт сам. Кира вела себя и не ждала ничего, кроме ритма. Одной он был нужен целиком, другой хватало половины. За стеной хлопнула форточка, и по полу потянуло холодом.

Под конец Кира откинулась назад и выгнула спину. Потом упёрлась локтями в подушку и смотрела в потолок.

— Всё нормально?

— Всё как надо.

Она перевернулась на бок и подтянула колени к груди. «Как надо» звучало отметкой в ведомости, и спорить с отметкой было некому. В Мисхоре его никто не оценивал, там было хорошо и без формулировок.

Утром Николай проснулся один. На подоконнике стояли коробка с карточками и пачка сухарей, подписанная «Коваленко», на столе лежала записка: «Вернёшь книги, звони по этому

номеру». Просыпаться в чужой комнате и не находить рядом никого он уже пробовал. Кот сидел на его ботинке и уходить не собирался.

Вечером он застал отца за столом. Отец ел суп ровно и беззвучно, поглядывая на прогноз погоды в телевизоре. Ни где был сын, ни что ел, ни как дела, он не спросил. Налил ему из кастрюли и подвинул тарелку.

— Хлеб есть?

— Есть.

Дальше ели молча. Звук ложки, тиканье часов и голос диктора, обещавшего Москве снег и нуль градусов. Так тянулся декабрь.

Новый год Николай встречал у Киры: отказаться значило искать другое место, а другого не было. Отец уходил дежурить в институт, где по традиции в новогоднюю ночь резались в преферанс и слушали куранты по больничному радио. Если не было срочных операций.

Николай пришёл с бутылкой шампанского, выстояв за ней очередь ещё двадцать восьмого, потому что к тридцать первому в магазинах оставались одни отклеившиеся этикетки в пустых картонных ящиках. Мать Киры взяла бутылку из его рук, будто принимала бумагу на подпись, и только потом посмотрела на него самого, задержав взгляд дольше приличного.

— Работаю я, между прочим, в больнице, — сказала она, когда бокалы наполнились. — Медсестрой в хирургии. У нас там главный — тоже Коваленко, Семён Аркадьевич. Не родственник ваш, случайно?

— Отец.

Хозяйка медленно поставила бутылку на стол. Брови у неё поднялись и остались в таком положении дольше, чем нужно.

— Батюшки! Так вы — Коваленко-младший? А я его каждый день вижу. Руки перед операцией моет дольше, чем иные оперируют. Строгий у вас отец.

— Строгий, — согласился Николай.

Он сидел за чужим праздничным столом, под ватным попугаем, сделанным для ёлки ещё в пятидесятые, и снова числился сыном хирурга Коваленко раньше, чем самим собой.

Куранты пробили вовремя, и Кира чокнулась с матерью так же деловито, как днём листала карточки. Новый год шёл у неё тоже по расписанию.

Сессия пришлась на середину января, и радовало Николая в ту зиму только одно: сдал он её на одни пятёрки. Перед стендом с ведомостями он простоял всю перемену, выискивая свою фамилию снизу вверх и сверху вниз. Пятёрки он заработал сам, значит, будет стипендия — и это было второе в его жизни, чего он добился без отца. Он отошёл от стенда и только в коридоре заметил, что всё это время держал шапку в руках.

Через несколько дней в вестибюле вывесили лист с расписанием на весенний семестр: машинопись через плохую копирку и четыре кнопки, из которых одна погнулась и держала бумагу еле-еле. В клетке напротив его группы стояла фамилия преподавателя. Он прочитал её механически, не задержавшись дольше, чем на любой другой строчке, и пошёл сдавать пальто.

Курс шептался вовсю. Второкурсник рассказывал в очереди за компотом, округлив глаза, что с февраля выходит новая преподша, вернулась из-за границы, из Германии, и валит всех подряд. Кто-то добавлял, что она редкая стерва и спорить с ней бесполезно.

До первого занятия оставалось несколько дней. Николай каждое утро проходил мимо доски, сверяясь с расписанием по привычке, оставшейся с сентября, когда он ещё плохо знал расположение аудиторий и на всякий случай проглядывал листы объявлений. Бумага висела та самая — шершавая, с рубчиком от отпавшей кнопки.

Потом он шёл в аудиторию, доставал тетрадь, занимал место ближе к окну, и кто приходил читать лекцию — ему было всё равно.

Глава 7. Препод из ГДР

Февраль в тот год выдался сухим и морозным, из тех февралей, при которых институтские батареи работали на максимуме, и к началу пары в аудитории было натоплено до духоты. Форточку в крайнем окне заклинило ещё осенью, и с тех пор её никто не трогал: в здании давно установилось мнение, что зимой свежий воздух студенту скорее вреден.

Пахло мелом и влажными пальто от вешалки у входа. Из коридора тянуло мастикой, которую уборщица растирала по полу с самого утра, и запах просачивался сквозь неплотно закрытую дверь вместе с шарканьем ног по коридору.

Николай сидел у окна рядом с Кирой и чертил в тетради схему: квадратики, стрелки и снова квадратики. Схема была ни к чему, просто руки сами требовали занятия, пока преподаватель не вошёл.

Кира разложила перед собой карточки веером, как раскладывают пасьянс, и постукивала карандашом по столу в одном и том же ритме, отсчитывая минуты до звонка.

— Слышал, что второкурсники рассказывают? — спросила она, не поднимая головы от карточек.

— Про новую?

— Ну, она не новая, просто была за границей полгода… Говорят, и была стервой, а вернулась — стала ещё хуже. Валит всех подряд, невзирая на лица.

Позади пересказывали то, что курс слышал уже третий раз за неделю: будто она отчислила студента за перепутанный год смерти Робеспьера, и что спорить с ней бесполезно, последнее слово всё равно остаётся за ней. И будто на учёном совете от неё доставалось даже декану, если та путалась в датах.

Голоса накладывались один на другой, и в аудитории стоял разноголосый монотонный шум. Одни смеялись, другие охали притворно и с удовольствием, потому что бояться им было пока рано. Громче всех говорила девушка с соседнего ряда, дочь не последнего человека в министерстве, и говорила уверенно: за неё работала фамилия.

— Редкая стерва, — заключил студент у окна, довольный собственной формулировкой.

Кира фыркнула, не отрываясь от карточек.

— Может, и стерва. Только те, кто знает предмет, всегда стервы. Мягких на кафедре держат в дураках.

Николай хотел заметить, что Робеспьеру в этой истории тоже досталось незаслуженно, но не успел.

Дверь открылась без стука, и в том, как она открылась, было столько уверенности, что аудитория выпрямила спины раньше, чем разглядела вошедшую. Шум оборвался разом, как обрывается радио, если выдернуть вилку из розетки.

Она вошла быстрым твёрдым шагом, в тёмной юбке и белой блузке с воротничком, положила на кафедру папку, сверху конспект и обвела аудиторию медленным взглядом, пересчитывая присутствующих по головам, ряд за рядом.

— Меня зовут Маргарита Степановна, — сказала она ровным сухим голосом, чуть громче, чем требовалось. — Я полгода была в Германской Демократической Республике, читала там по обмену. Теперь вернулась. Историю у вас веду я и вести буду до конца обучения.

Пауза вышла такой длины, чтобы желающие успели записать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.